

Говард Филлипс Лавкрафт

Сторонний

(The Outsider)

Несчастен тот, кому воспоминания детства доносят лишь страх и печаль. Злосчастен тот, кто, оглядываясь назад, созерцает лишь часы одиночества в просторных и безрадостных хоромах с темными занавесями и приводящими в исступление рядами стародавних книг или трепет и жуть бдений в сумрачных куцах причудливых, великанских. Оплетенных повойными травами деревьев, безгласно качающих искривленные ветви далеко в вышине. Такая участь ниспослана мне богами — мне, обмороченному, обманувшемуся; мне, плачевному пустоцвету. И все же со странной отрадой я отчаянно лгну к этим безуханным воспоминаниям, когда мой ум поминутно грозит простереться перед теми другими...

Не ведаю, уроженец каких я мест, знаю только, что замок был бесконечно старым и бесконечно жутким, полным темных ходов и переходов и с высокими потолками, где глаз находил паучьи тенета и призрачные тени. Камень обветшалых коридоров вечно источал мерзкую сырость, и повсюду стояло злосмрадие, словно несло мертвечиной вымороченных поколений. Там никогда не бывало светло, поэтому иногда я затеплял свечи и облегчения ради неотрывно смотрел на них; за стенами замка тоже никогда не бывало солнца, ведь высоковетвенные деревья уходили выше самой выпрерной из всех доступных башен. Одна черная башня достигала поверх деревьев в неведомое нездешнее небо, но она была местами разрушена, и взойти на нее можно было не иначе, как совершив почти невозможный подъем по голой стене, с камня на камень.

Должно быть, в замке я прожил годы, но меру времени я не знаю. Должно быть, некто пекся о моих нуждах, однако не могу припомнить никого другого, кроме себя, и ничего живого, кроме бесшумных крыс, нетопырей и пауков. Кто бы ни был выпестовавший меня, думаю, он должен был быть невыносимо дряхл, поскольку первым моим представлением о живом образе было некое пересмеяние моего собственного, но скривленного, сморщенного и ветхого, как сам замок. Я не видел ничего безобразно отталкивающего в костях и скелетах, которыми были устланы некоторые из каменных крипт глубоко в недрах замка. Я сумасбродно связывал подобные вещи с житейской обыденностью и считал их более естественными, нежели живых существ с цветных картинок, которые находил во многих обметанных плесенью книгах. По этим книгам я научился всему, что знаю, в отсутствие учителя, без понуждения и наставления, и не припомню, чтобы за все эти годы я слышал человеческий голос — даже свой собственный, поскольку, хотя и читал в книгах о даре речи, мне ни разу не вздумалось заговорить вслух. Облик мой также был делом, до которого мои мысли не доходили, поскольку зеркал в замке не было, и простым чутьем я полагал себя сродни тем молодым героям, нарисованным карандашом или красками, которых видел на страницах книг. Я сознавал свою молодость, поскольку помнил так мало.

За стенами замка, по ту сторону гнилого рва и под мрачной сенью немейших деревьев, бывало, я часто лежал в думах о том, что прочитывал в книгах, и со страстным томлением представлял себя среди веселой толпы в залитом солнцем мире, простиравшемся там, за бескрайними лесами. Однажды я попытался бежать из леса, но чем дальше уходил от замка, тем плотнее прессовался сумрак и тем гуще насыщался воздух чернотумными страхами; и тогда в исступлении отчаяния я кинулся обратно, пока не потерялся в лабиринте ночной безгласности.

Там я проводил бесконечные сумерки в дремах и ожидании, сам не зная, чего жду. И тогда в мраке одиночества тоска моя по свету перешла в такое исступление, что я больше не находил покоя и с мольбой воздевал руки к черной развалине стоящей особняком башни, которая досягала до неведомого нездешнего неба. Наконец я решился взобраться на башню: пусть даже упаду, но лучше хоть раз взглянуть на небо и погибнуть, чем жить, так и не видав дня.

В промозглых сумерках я карабкался по истертому камню древних ступеней, пока не добрался до той высоты, на которой они обрывались, и вслед за тем стал рискованно цепляться за маленькие приступки для ног. Кошмарным и грозным был тот мертвый каменный колодец без лестницы — мрачная запустелая развалина, и черные думы навевали крылья испугнутых нетопырей, беззвучно бьющие воздух. Но еще кошмарней и грозней была та медлительность, с которой я продвигался: сколько бы я ни взбирался, тьма над моей головой не редела, и меня пробирало ознобом, словно от древних могил, наваждаемых призраками. Я содрогался, задаваясь вопросом, почему никак не выберусь к свету, и глянул бы вниз, если бы посмел. Я строил фантазии, что тут меня неожиданно застигло ночью, и тщетно шарил свободной рукой в поисках амбразуры, чтобы, выглянув, посмотреть вверх и попытаться определить высоту, на которую поднялся.

Неожиданно, после целой вечности страшного слепого движения вверх попластунски по той вогнутой и отчаянной круче, я почувствовал, что уперся головой во что-то твердое, и понял, что добрался, наверное, до крыши, по крайней мере до какого-то перекрытия. Я поднял в темноте свободную руку и, испробовав преграду, нашел, что это камень, сдвинуть который с места было невозможно. Тогда я пустился в смертельно опасный круговой обход башни, цепляясь за малейшие опоры на осклизлой стене, пока моя испытующая рука не обнаружила, что преграда поддается, и я снова направил свое движение вверх, упершись в плиту или дверь головой, поскольку обеими руками цеплялся за стену. Сверху не проливалось ни лучика света, и по мере того, как руки ползли все выше, я понял, что на сей раз мой подъем завершен; эта плита оказалась люком, ведущим на ровную каменную плоскость большей окружности, чем нижняя часть башни, — без сомнения, это был пол некой высокой и поместительной наблюдательной вышки. Я осторожно пробрался лазом и усиливался не дать тяжелой плите люка упасть на прежнее место, но потерпел неудачу... В изнеможении простершись на каменном полу, я слышал леденящие кровь отзвуки ее падения, но надеялся заново ее поддеть, когда придет нужда.

Полагая себя на чудовищной высоте, превыше окаянного лесного ветвия, я с трудом поднялся, слепо тыкаясь в поисках окон, чтобы взглянуть на небо, луну и звезды, о которых столько читал. Но меня ожидало разочарование: я не находил ничего, кроме

просторных мраморных полок, несущих на себе отвратительные прямоугольные ящики. Все больше и больше впадал я в раздумье, даваясь диву, какие же тайны, покрытые прахом, хранит этот высокий покой, на столько веков отрезанный от замка. Неожиданно мои руки уперлись в каменную створку дверного проема, шероховатую от странной резьбы. Испробовав дверь, я обнаружил, что она заперта, но, собравшись с силами, одолел запоры и отворил ее, рванув на себя. Вот тогда-то я изведаль чистейшее блаженство, какое когда-либо знал: лия ровный свет сквозь витые узоры чугунной решетки и на каменные ступени короткой лестницы, идущей вверх от новообретенной двери, стояла ясная полная луна, никогда прежде мною не виденная, кроме как лишь в дремах и в смутных видениях, которые я не осмеливался называть воспоминанием.

Вообразая теперь себя достигшим самой вершины замка, я было бросился вверх по немногим ступеням за дверь, но внезапно затмившее луну облако заставило меня оступиться, и в темноте я с трудом находил дорогу. Было все еще очень темно, когда я достиг решетки, которую осторожно испробовал и обнаружил незапертой, но которую не стал открывать из страха упасть с головокружительной высоты. И тогда вышла луна...

Самый сатанинский из всех ударов — это удар от полнейшей неожиданности и уродливой невероятности. Ничто из пережитого мной прежде по ужасу не сравнится с тем, что я увидел теперь — с фантазмагорией чудес, которые это зрелище подразумевало. Зрелище само по себе было столь же простым, сколь и ошеломительным: вместо головокружительного вида вдаль на верхушки деревьев, открывающегося с величавой возвышенности, вокруг меня вровень по одну и другую стороны решетки простиралось не что иное, как твердая земля с нарушавшими ее однообразие украшениями из мраморных плит и колонн, прятавшихся в тени древней каменной церкви, чей обветшалый шпиль призрачно мерцал в лунном свете.

Безотчетно я отворил решетку и, спотыкаясь, набрел на белую песчаную дорожку, тянущуюся в обе стороны. Пошатнувшийся и смятенный, мой рассудок все еще удерживал исступленную жажду света — и отклонить меня с моего пути не могла даже невероятная диковинность происходящего. Я не знал, не хотел знать, было ли пережитое безумием, сном или волшебством, но исполнился решимости взглянуть на блеск и веселье любой ценой. Я не знал, кто я и что я, не знал, где оказался, однако по мере того как, запинаясь, брел все дальше, озарялся чем-то вроде робкого дремлющего воспоминания, благодаря которому мой путь лежал не совсем наугад. Пройдя под аркой, я оставил позади то место с плитами и колоннами и побрел чистым полем, придерживаясь хоженной дороги, но иногда с нее сходя, чтобы пойти по лугу, где лишь случайные обломки выдавали вековое присутствие забытой дороги. Раз я пустился вплавь через быструю реку, где выветренные замшелые камни напоминали о давно пропавшем мосте.

Прошло, наверное, более двух часов, прежде чем я достиг того, что было вроде бы моей целью, — седой и древний, повитый плющами замок в тесноте заглохшего парка, знакомый до исступления и тем не менее совершенно чужой мне. Я видел, что ров засыпан и что некоторые до боли знакомые башни снесены, в то же время новые флигели приводили в замешательство своим присутствием. Но главным предметом моего интереса и восторга были открытые окна — залитые роскошным светом и

выплескивающие во мглу бьющее ключом веселье. Подойдя к одному из них, я заглянул внутрь и увидел поистине причудливо одетое общество, предававшееся забавам и веселой болтовне. Похоже, я никогда не слыхивал человеческой речи и лишь смутно мог догадываться, о чем говорилось. Некоторые лица, казалось, пробуждали неимоверно далекие воспоминания, в других вовсе не было ничего узнаваемого.

И вот я прошел через низкое окно в ослепительно светлую комнату — перейдя тем самым от единственного в моей жизни светлого мига надежды к чернейшему приступу отчаяния и осознания. Кошмар нагрянул, не заставив себя ждать, ибо стоило мне войти, как немедленно разразилось одно из ужаснейших проявлений чувств, какое я только мог себе представить. Едва я перешагнул подоконник, как все общество обуял внезапный, ничем не объяснимый страх, исказивший лица и исторгший ужаснейшие вопли чуть ли не из каждой гортани. Началось всеобщее бегство, и среди шума и паники некоторые, обмерев, валились без чувств, и бегущие в исступлении их сотоварищи волокли их волоком за собой. Многие закрывали глаза руками и неуклюже, вслепую, метались, опрокидывая на бегу мебель и натываясь на стены, пока не умудрялись добраться до одной из многих дверей.

Крики звучали убийственно, и, стоя, одинокий и помраченный, в ослепительно светлом покое и прислушиваясь к их затухающим отголоскам, я трепетал при мысли о том, что незримо могло затаиться рядом со мной. При беглом осмотре комната казалась пустынной, но когда я направился к одной из ниш, мне почудилось там некое призрачное присутствие — намек на движение по ту сторону золоченой арки, ведущей в другую и чем-то похожую комнату. Приближаясь к арке, я начал различать призрак отчетливее, и тогда с первым и последним когда-либо изданным мной звуком — гнусным завыванием, забравшим меня отвращением почти столь же пронзительным, как вызвавшая его омерзительная причина, — я узрел с кошмарной ясностью невообразимое, неопишное и не нарекаемое никаким словом уродище, которое простым своим появлением обратило веселое общество в безумное стадо беглецов.

Не могу и обиняками описать, на что оно было похоже, ибо это была смесь всего, что только есть пакостного, сверхъестественно жуткого, сквернящего, противуприродного и омерзительного. Это был смрадный призрак тления, ветхости и разложения, гнилое и осклизлое видение открывшейся скверны, страшное обнажение того, что должно вечно скрываться милосердной землей. Видит бог, оно не принадлежало миру сему — уже не принадлежало! — однако, к своему ужасу, я угадывал в его выеденных, оголяющих костяк контурах злое, отвратительное перекирвление человеческой фигуры, и в его полуистлевшем, обметанном гнилью платье какое-то не поддающееся словам свойство, пронявшее меня еще большим холодом.

На меня напал столбняк, но все же не настолько, чтобы я не сделал слабой попытки к бегству — неловко отшатнулся назад, чем не сумел нарушить чар, которыми меня сковало безымянное безгласное чудовище. Под наваждением омерзительного взгляда его пустых белым, которыми монстр впился в меня, мои глаза отказывались закрываться, хотя и милосердно туманились и после первого потрясения если и видели ужасный предмет, то размытым. Я попытался поднять руку, чтобы заслониться от этого взгляда, но такой удар пришелся по моим нервам, что рука не вполне повиновалась воле. Этой попытки, однако,

оказалось достаточно, чтобы пошатнуть меня, так что я на несколько неверных шагов подался вперед, чтобы не упасть. Подавшись же вперед, я неожиданно и болезненно осознал близость этой падали, чье тошнотворное дыхание почти звучало у меня в ушах. Почти теряя рассудок, я все же нашел в себе силы выставить вперед руку, чтобы загородиться от злосмрадного призрака, который на меня наступал, и тогда в один разрушительный миг вселенского кошмара и самым адом подстроенного случая мои пальцы тронули живой прах протянутой лапы чудища под золоченой аркой.

Я не забыл, но все бесовские ведьмаки, носимые полуночным ветром, взвыли за меня, когда в ту же секунду на мой рассудок обрушилась стремительная лавина сокрушающей душу памяти. В ту секунду я понял все, что было раньше; я простерся воспоминанием за пределы страшного замка и леса и узнал измененный облик здания, в котором находился, узнал — и это ужаснее всего! — ту нечестивую скверну, которая стояла, злобно косясь на меня, когда я отнял от нее мои замаранные пальцы.

Однако во вселенной есть не только отравы, но и бальзамы, и этот бальзам — *perenthe*, напиток, дающий забвение. В запредельности ужаса той секунды я забыл, что же ужаснуло меня, и взрыв черных воспоминаний рассеялся в сумятице вторящих друг другу образов. Как во сне, скрылся я из наваждаемой призраками окаянной громады и во весь дух припустил под луной.

Вернувшись за кладбищенскую ограду к мрамору плит и колонн и сойдя по ступеням вниз, я обнаружил, что каменную крышку люка приподнять невозможно, но не опечалился, ибо ненавидел вековечный замок и деревья. Теперь вместе с глумливыми и приятельствующими со мной ведьмаками я ношусь на полуночном ветре, а днем веселюсь среди катакомб Нефрен-Ка в неведомой долине Хадот на Ниле. Я знаю, что свет не про меня, если только это не свет луны над скальными гробницами Ниба, и радость не про меня, если только не безымянное веселье, посвященное Нитокрис под Великой пирамидой; однако мне, заново шалому и свободному, почти желанна горечь отчуждения.

Ибо, хотя *perenthe* и умиротворил меня, я навсегда понял, что я сторонний, чужой в этом веке и среди тех, кто еще считает себя людьми. Это я знаю с тех самых пор, как моя рука протянулась к тому монстру в громадной золоченой раме — пальцы мои коснулись холодной и гладкой поверхности неподатливого стекла...

Перевод: Нина Бавина

2011 год